



Евгения ПЕРЕПЁЛКА

СКОЛЬКО КАПЕЛЬ В ОКЕАНЕ

Евгения Викторовна Перепёлка родилась в Ленинграде в писательской семье. Окончила Литературный институт им. А.М.Горького (семинар Андрея Битова). Печталась в журналах «Новый мир», «Кукумбер», «Подъём», «Наша школа» и др., сборниках «Антология современной прозы», «Новые амазонки», «Соло», сетевом журнале «Парус». Финалист конкурса прозы для детей и подростков (2008). Работает ландшафтным дизайнером, воспитывает шестерых детей. Живёт в пос. Загорянский Московской области.

На Троицу наши бабки повели нас с Генкой в церковь на службу. Пока шли по проспекту, издали рассматривали один дом. Он был похож на праздничный торт, какой-то кубический, с шишечками и башенками на крыше. Утреннее солнце так его освещало, что шишечки и шпили казались совсем кремовыми. В церкви мы с Генкой долго лежали лицом в подсохшей траве и пытались разговаривать, но Генкина бабка на него шикнула, и он замолчал. Когда стали его поднимать, оказалось, что он спит.

Вечером мы сидели в пыльной кладовке в нашей коммунальной квартире, на перевёрнутой бельевой корзине.

— Знаешь, как по-украински будет зеркало? — спросил Генка.

Я, конечно, не знала.

— Лукин-глас, — сказал он, произнеся «г» так, как это делают на Украине. Я была сражена и стала думать, чем закрыть.

— А я зато слышала, что сегодня бабки в церкви говорили.

— Ерунду какую-нибудь, про Антихриста.

— А вот и нет. Они говорили, надо молиться, чтобы стать столбом.

Генка долго на меня смотрел и не мог понять, что это я такое сказала, а потом засмеялся.

— Это только дурочка тётя Галя могла такое сказать!

Тётя Галя была наша местная сумасшедшая — большая толстая старуха, похожая на мужика, с колючей бородавкой на носу. Она всегда сидела у подъезда на табуреточке, улыбалась и всем проходящим говорила:

— Сколько капель в океане,

Сколько листиков в саду,

Столько счастья вам желаю

В наступающем году.

В её детских мозгах всегда был Новый год, ёлка, гостинцы. Когда ей давали конфеты, она очень радовалась. Однажды я подслушала, как моя бабушка рассказывала про тётю Галю. Оказывается, она раньше была нормальная, даже красивая. Во время блокады её гоняли копать траншеи, а она очень боялась, когда бомбили. Сразу падала и била ногами. Однажды она шла по Московскому проспекту копать, и начался обстрел. Снаряды падали совсем близко. В это время мимо проезжали на открытом грузовике новобранцы, молодые солдаты. Тут по какому-то определённо звуку все догадались, что в

их сторону летит снаряд. Один из солдат, увидев, что тётя Галя страшно испугалась и в истерике стала биться об землю, прыгнул из грузовика, бросился прямо на неё и прикрыл своим телом. Ровно в эту секунду раздался взрыв, и солдата этого разорвало в клочья. А тётя Галя осталась жива, только стала лепетать про капли и про листики. Про эту-то тётю Галю Генка и вспомнил.

— Нет, это другие бабки говорили, нормальные, — обиделась я.

— Столбом быть только дурак захочет, — сказал Генка. — Стоишь, дышать не можешь. Хочешь рукой шевельнуть — нет руки, ногой шевельнуть — нет ноги!

— Это, кажется, столбом в церкви имелось в виду, — с сомнением произнесла я.

— Ещё не легче. Стоишь, а крутом одни старухи. С тоски помрёшь!

— Ты тоже стариком будешь, Генка.

— Не буду, — отрезал Генка. — Я и вырастать не хочу, водку пить надо будет, а я не хочу, как мои. Вот специально в день рождения не встану с кровати, вцеплюсь в неё руками и изо всех сил буду держаться, чтоб не вырасти.

У Генки было грубое лицо с вывернутыми ноздрями и голубыми мешками под глазами; губы вечно шелушились, а в углах были трещины. Он жил в пятнадцатикомнатной коммуналке, куда я приезжала к бабушке, со

своими вечно пьяными родителями. Отец был злой, он часто бил Генку. Мама была добрая, у неё стояло полированное трюмо со всякими помадами и набором духов из трёх гранёных флакончиков: синий назывался «Сапфир», зелёный — «Изумруд», а белый — «Алмаз», и она иногда давала мне подушиться. А ещё на трюмо симметрично стояли две одинаковые вазы-дудки, из них торчал крашенный ковыль, когда-то купленный для Генки на демонстрации. Один пучок был уныло-карминного цвета, а другой — уныло-изумрудного. Я мечтала, чтобы мне купили такой ковыль, но мне не покупали. Я жила с папой и мамой в новом районе, где у нас была кооперативная квартира, ходила на фигурное катание и английский, и мама не одобряла моей дружбы с Генкой.

Но Генка просто обожал меня. Если я долго не приезжала к бабушке, он звонил мне домой, и, бывало, мы с ним по десять минут просто молчали друг другу в трубку.

— Валерка, приезжай, — говорил он. — Я достал свинца, один мальчишка научил меня делать из гипса формы, и мы с тобой будем отливать чёртиков.

Я приезжала, он бежал по коридору навстречу, широко распахнув руки. Мы обнимались, но я никогда не разрешала себя целовать, потому что чувствовала тихую, почти незаметную брезгливость к обветренным, потрепавшимся Генкиным губам.

Целый месяц по выходным мы делали формы из всего, что видели, и отливали всякие забавные фигурки. Это происходило в нашей коммунальной сорокаметровой кухне, выкрашенной тускло-синим на все четыре метра в высоту. Впрочем, там никогда не было мрачно, потому что из окна светила охристая стена нашего двора-колодца, всегда было много ярко-жёлтых лучей, и в посылочном ящике на окне замечательно рос лук.

Раз в Новый год все взрослые ушли на кухню, чтобы поздравить друг друга и выпить шампанского, а я в ночной рубашке пробралась в Генкину комнату, и на радостях мы стали кидаться подушками. Я не рассчитала, кинула слишком высоко и разбила люстру прямо в салат. А потом, лёжа у себя в комнате и натянув на голову одеяло, не могла уснуть, потому что сначала Генку лупили, орала тётя Роза, его мама, а потом его выставили на лестницу босиком и в пижаме, и там он тихонько выл. Он так и не сказал, что люстру разбила я. Под утро его забрала с лестницы тётя Фаина, старуха из комнаты напротив нас. Пьяный Генкин папа рвался к тёте Фаине, все, кто успел заснуть, проснулись и высыпали в коридор. Выскочила и моя бабушка на помощь тёте Фаине. Мне было плохо видно: мелькала в полутьме чья-то ночная рубашка, голые локти, кого-то волокли, кто-то кричал. Я услышала задыхающийся Фаинин голос:

— Что, ты хочешь, чтобы он сгорел, как моя Люся?!

Наконец всё успокоилось. Соседи умирили Генкиного папу. Вернулась бабушка, долго возилась, укладываясь, а я не выдержала:

— Ба, а что это за Люся, которая сгорела?

— Видишь, — сказала бабушка, — у Фаины была дочь, ещё до войны. Она в школе училась, в первом классе. На Новый год Фаина ей сделала костюм — много-много марли, мишуру какую-то пришила, шапочка у неё была, как у Снегурочки. В школе был вечер, и ребятам запрещали бенгальские огни зажигать. А один мальчик зажжёт, а потом смотрит — директор идёт. Ну, он и спрятал за спину этот огонь-то. А там сзади Люся стояла. На ней платье и полыхнуло. Говорят, она по всей школе, как комета, летала, её поймать не могли. Если бы поймали — потушили бы, и всё. А она бежала и горела всё сильнее, пока совсем не сгорела.

— Что, умерла?! — закричала я.

— Умерла, — сердито проворчала бабушка. — Вот почему я вас с Генкой ругаю, когда вы с расплавленным свинцом балуетесь.

На следующий день я рассказала Генке про Люсю, и мы стали с ним играть. Я надела белое платье, а он поджжёт спичку. Я сделала вид, что платье загорелось, и побежала по коридору. Генка бежал за мной и кричал: «Люся,

стой!»; возле кухни он поймал меня, повалил на пол и стал по мне кататься, делая вид, что тушит. В это время мы заметили, что на кухне стоит тётя Фаина и смотрит на нас. Она заплакала и повалилась на колени, а при её грузной фигуре это как-то страшно выглядело. Мы с Генкой начали успокаивать её, и Генка всё говорил:

— Тётя Фаина, что вы плачете, я же её потушил!

В последний раз я видела Генку, когда училась в институте. Я шла по проспекту с одним очкастым отличником с нашего курса. На мне была мини-юбка, потому что все говорили, что у меня очень красивые ноги. У тротуара стояла последняя модель BMW, а возле неё какой-то бугай с красной шеей, которая чуть не рвала ворот рубахи. Он повернулся ко мне, и я увидела, что это Генка. Мы поздоровались, как чужие, и тупо уставились: я — на толстенную пачку денег в его руках, а он — на мои ноги. Поймав этот перекрёстный взгляд, я засмеялась. А Генка — нет. Тогда я чуть не заплакала. Мы перебросились какими-то словами. Генка рассказал, как вчера пил в ресторане с мужиками, «а они говорят: Геньч, ты как напьёшься, так жалеешь, что тебя в Чечне не убили». Меня слегка подташнивало от вида его шеи. Когда я уже отошла далеко, мне вдруг захотелось вернуться и заорать: «Генка, ты же обещал никогда не вырастать! Почему ты в

день рождения плохо за кровать держался? Плюнь ты на всё, хочешь, я этого очкарика прогоню, и мы с тобой побежим и на нашу любимую яблоню залезем, только брось всё это!»

Через год я узнала, что Генку убили в бандитской разборке. Несколько раз попали в него из автомата. Всех, кто там был, расстреляли, и их не сразу нашли. Они лежали несколько дней. Когда я пыталась представить себе, каким нашли Генку, мне виделась только кожа игрушечного резинового слона: серая, потрескавшаяся, — мы играли им, когда были совсем маленькие.

В ту ночь мне приснился сон, будто я подхожу к высоченной двери нашей коммунальной квартиры, где я не была уже много лет. Дверь открывается сама, за ней наш коридор, только вместо стены с дверцей кладовки ничего нет, и там восходит солнце, очень-очень далеко. Но светит как будто не солнце, а что-то другое. Как бы изнутри пространства светит, так что теней нигде нет. И я иду мимо комнат к тёткиной Фаининой двери. Она открыта, из неё очень сильный свет. Я вижу, что там ослепительное золотое распятие, как в церкви, но давно умерший старик Москвин говорит мне: «Туда пока нельзя!» И тут я вижу, что по коридору, раскинув руки, как в детстве, бежит ко мне Генка: «Валерка, ты пришла!» Я беру его за руки и вдруг понимаю: Господи, я хочу только

одного — быть столбом. Чтобы ни рукой ни ногой не шевельнуть, чтобы ни поесть ни попить, и дышать даже не хочу, только чтобы никто не горел — ни Генка, ни Люся, ни сумасшедшая тётка Галя, которая уже давно, наверное, знает, сколько капель в океане.

Клава

Когда я была ребёнком, мне очень хотелось какую-нибудь живность иметь: собаку или кошку. Но мне не разрешали. И я от тоски даже однажды в банке с землёй червячков завела. Но с червячками оказалось неинтересно: они под землю ушли и навек пропали, я их так и не видела больше. И вот я всё-таки постепенно стала заводить животных, сначала безобидных — рыбок, лягушек под названием африканский узкорот, потом мышей, крыс, а потом такая весёлая жизнь началась, что и кот у нас появился, и две собаки: такса Клава и болонка Люся. Про них про всех можно написать целые истории, и я начну с Клавы.

Когда мне было тринадцать лет, мама была где-то в гостях и принесла оттуда щенка таксы. Собачку звали Клава. У неё было столько лишней кожи, что, если её брали за шкуру, то она напоминала большой кожаный мешок, в котором на дне барахтается какое-то маленькое существо. Жалобно свистящий нос с горбинкой, грустные человеческие глаза — вот какая это была собака. Я очень

умилялась и не подозревала, какое исчадие поселилось в нашем доме. Война с Клавой у меня началась, когда ей было три месяца. Как-то утром я наклонилась, чтобы поцеловать маму, которая ещё спала. В этот момент из-под одеяла молниеносно, как змея, выскочила Клава и укусила меня за глаз. Шрам был огромный, нешуточный, он так и остался у меня на всю жизнь. С той минуты я поняла, что вместо друга приобрела лютого врага.

Тем не менее, если мамы не было дома, Клава лазила спать ко мне в кровать. Стоило мне ночью шевельнуться, рядом раздавался злобный рык: нельзя было её тревожить. Однажды Клава залезла ко мне под одеяло, а когда утром зазвонил будильник, она подскочила, как ненормальная, и укусила меня за живот. Столь же немилостива она была со всеми, кто, как ей казалось, претендовал на внимание её хозяйки — моей мамы. Когда к нам в дом приходили мужчины, Клава выходила из себя. Сначала она просто кусала их, но после того как мы стали её запира́ть в ванной, сменила тактику. Она забиралась в кухне под стол и старалась подсунуть под ногу гостя старую кость или кусок засохшего сыра. Стоило человеку случайно наступить на это сокровище, как в ногу ему вшивались острые зубы. Многие уходили от нас в совершенно разодранных брюках, с синяками и укусами. Некоторые больше

никогда не приходили. Сколько шапок, одеял и ночных рубашек поела такса! Будучи охотничьей, норной собакой, она во всём стремилась видеть нору. А если ничего похожего на нору не было, она сама её раскапывала: из одеяла выедала вату, в углу дивана лапами прорыла дырку и повытаскивала оттуда весь поролон. А сколько раз бывало, что мама ложилась спать в новой ночной рубашке, а когда просыпалась, то было как в пословице: «Один воротник остался». И мама никогда не наказывала Клаву, а даже, наоборот, жалела её. «Бедная собачка, — говорила она, — ей не хватает простора». Простора ей и вправду не хватало. Клаве негде было применить свой охотничий задор. Один раз только, гуляя с нами в лесу, она сделала настоящую стойку и, дрожа от возбуждения, долго лаяла в малиновый куст. Когда мы раздвинули куст, там оказалась коробка от сахара. Да ещё раз на берегу озера Клава пыталась схватить жабу. Жаба выпустила ей в нос какую-то жидкость и уплыла, а у собаки ещё долго от унижения тряслась челюсть.

Как-то Клавка повадилась по ночам залезать на стол и таскать сахар из сахарницы. Вскоре она до того обнаглела, что однажды, среди дня зайдя на кухню, я увидела такую картину: Клава всеми четырьмя лапами стояла на столе и доедала из конфетницы шоколадные конфеты. Вот как она это

делала: лапой прижимала один кончик фантика, зубами бралась за другой и дёргала. Конфета почти полностью разворачивалась, и таксе ничего не стоило окончательно выкатить её из бумажки носом. Увидев меня, Клава даже не подумала смутиться. Наоборот, она дико зарычала и стала требовать, чтобы я убиралась. Я побежала жаловаться маме, но она лишь сказала: «Бедная собачка, ей вредно столько шоколада». «Ну ладно же, погоди», — подумала я. Дождавшись вечером, когда мама уснёт, я заманила Клавку в ванную куском колбасы, намылила ей макушку и бритвой выбрила тонзуру, как у католического монаха. Утром, проснувшись, мама была в ужасе: за ночь собачка оплешивела! Я ещё подлила масла в огонь, сказав, что после такого количества конфет Клава может и ослепнуть. С тех пор, к моему удовольствию, всё сладкое пряталось от собаки. Однако вскоре она научилась добывать угощение другим способом. Когда мы садились за стол, Клава вспрыгивала на колени к маме или к кому-нибудь из гостей, зорко наблюдая, в какой части стола лежит вкусное. Лишь только в дверь раздавался звонок, она вдруг, как бы впад в невменяемое состояние, неистово визжа, быстро-быстро съедала со стола всё, что было в пределах её досягаемости. Иногда ей под горячую руку попадались и яблочные огрызки, и окурки, — она ничем не брезговала. Мама смеялась и говорила:

«Скорей, скорей, пока гости не пришли, надо всё доесть!»

Часто Клавке помогал хулиганить кот. Это именно он сбрасывал с вешалки меховые шапки, которые такса внизу беспощадно драла. Если вокруг стола не было стульев и Клаве было туда не забраться, он запрыгивал на стол и скидывал её то, что она хотела. А однажды даже был такой случай. Мы поставили на плиту огромную кастрюлю с целой курицей. На запах пришли кот и Клава и вертелись у плиты. Наконец кот, вскочив на плиту, толкнул кастрюлю. Кастрюля опрокинулась, и курица по доскам пола стремительно понеслась под диван, где её уже ждала Клава. Я попыталась подойти к дивану, но он так жутко рычал и вздрагивал, что мне это сделать не удалось. Курицу мы так и не спасли. То, что от неё осталось, есть уже никто не согласился, и остатки получил кот.

Клава терпеть не могла детей. Когда однажды к нам в гости пришёл маленький мальчик, она для знакомства вырвала у него клочок волос. Мама её побила, и после этого Клава уже не отваживалась на подобные открытые действия. Зато всё время, пока ребёнок находился у нас, она, вскочив на подоконник, лаяла в окно, как бы говоря: «Я не утверждаю, что со мной тут бесчеловечно обращаются, нет! Но вы посмотрите, какая несправедливость творится в этом мире — там, за окном!» И с тех пор, когда Клаве казалось, что её обижают, она лаяла в окно.

Перекусав всех, кого могла, и перепортив кучу имущества, она прожила у нас шестнадцать лет, после чего умерла от старости. Теперь, если мне когда-нибудь придётся заводить собаку, я заведу только таксу.

Котя и другие

Однажды мама пошла выносить мусор на помойку. Когда она высыпала его в бачок, оттуда выскочил испуганный котёнок и бросился прямо в наш подъезд. Мама тоже зашла в подъезд и стала подниматься по лестнице. Котёнок бежал впереди неё, пытался притаиться на каждой следующей площадке, но когда мама доходила до него, он стремглав бросался вверх по лестнице. Так он добежал до нашего этажа и, поскольку дверь стояла открытой нараспашку, вбежал в квартиру. Как только мама с ведром хотела войти, он прижал уши, сделал хвост ёршиком и зашипел на неё.

— Ну, раз ты такой нахал, — сказала мама, — живи у нас.

Мы назвали его Котя. Он был белый с чёрными пятнами на ушах. Котя очень быстро рос и округлялся. Это был такой спокойный кот, что иногда можно было перепутать его с копилкой. Сидит, бывало, неподвижно на тумбочке, а сам только и слушает, что мы говорим. Котю никогда не надо было звать «кс-кс-кс», как любого другого кота. Стоило мне в комнате тихо сказать: «Мама, что-то ко мне сегодня кот не

подходил», — как на кухне слышалось короткое «мр-р», об пол ударяли пятки, и Котя приходил ко мне на колени. Он никогда не навязывался, как другие кошки.

Я вообще-то кошек не люблю: они подлые. Будут к тебе лезть в душу, пластаться, аж сквозь пальцы просачиваться, а распахни перед ними пошире холодильник — им больше ничего и не надо. Кошка всегда любит того, кто её кормит. А у Коти была не кошачья душа. Во-первых, он любил воду. Если мы набирали тазик для мытья полов, он тут же в него забирался — так, что одна голова из воды торчала. И спать он очень любил в раковине, чтобы сверху на него из крана капало.

Когда у нас появилась такса Клава, Котя сразу взял её под свою опеку. Он вылизывал её щенячью шкурку, мягко прижав к дивану лапой. Клава склочно взвизгивала и огрызалась, но Котя не обижался. Когда такса подросла, она беспощадно грызла его, драла ключьями шерсть и гоняла по верхам, когда на то случалось настроение. Но только, бывало, скандалистка успокоится, он опять прыг сверху, и прижмётся к ней, и ласково гладит. В голодные дни Котя кормил Клаву. Вот как это было. Как-то у нас не было денег, чтобы купить еды животным, мама открыла дверь на лестницу и сказала: «Котя, кормить тебя нечем. Иди лови мышей». Кот медленно пошёл по коридору с поднятым хвостом — и исчез на лестничной

площадке. Он и раньше уходил гулять на улицу, но всегда возвращался, поэтому отпускать мы его не боялись. Вечером того же дня за дверью раздалось: «Ма-ау!» — таким низким голосом, что мы испугались. На пороге стоял Котя, и в зубах у него была куриная нога. Клава, конечно, сразу поняла, кто нынче будет героем дня и кого мама будет хвалить и ласкать, и бросилась беспощадно терзать и ерошить кота с визгом и гиком. Куриную ногу она тут же отняла и сожрала, только косточка хрустнула. С тех пор всякий раз, как Котя приносил ей еду, она устраивала ему у двери таможенный досмотр, так что бедняга кот едва живой уходил и прятался на шкафу. Но он зла не держал и постоянно приносил Клаве гостиницу. Так однажды он принёс ей целый, ненадкусанный бутерброд с колбасой. И уж, конечно, благодарности не видел. Наоборот, как говорится, «пуще прежнего старуха вздурилась». Вскоре среди соседей прошёл слух, что наш кот попрошайничает у рыбного магазина. Он сидел у порога со своими честными ласковыми глазами и просто взирал на входящих. На некоторых старушек-кошколюбов это производило такое впечатление, что они скорей бросались что-нибудь купить и угостить «бедную кошечку». От угощений Котя не отказывался, благодарил, вставал на задние лапы, хотя низко не угодничал и в пёстрые шарушечьи подолы не втирался.

Так он кормился каждый раз, как понимал, что дома ему ждаться нечего.

Котя благодушно сносил все бесчинства по отношению к себе. Однажды я красилась в ванной хной, и изрядное её количество у меня осталось после покраски. Не зная, куда ещё израсходовать ценный продукт, я как следует намазала хной кота, думая, что его белые пятна от этого станут рыжими. Но они стали розовыми. Котя быстро вылизался в уголке и уже через минуту без всякой укоризны вспрыгнул ко мне на колени. А все наши гости долго потом удивлялись: надо же, у вас розовый кот!

С крысами у Коти были почти дружеские отношения. Он на них практически никак не реагировал, а вот зато на клетку с белой мышью озирался. В такой момент зрачки кота наполнялись брожением первобытной силы, но он словно пугался собственной дикости и старался уйти подальше от соблазнительного предмета. Однажды я пришла из школы и заметила, что кот как-то странно себя ведёт. Он шёл, шатаясь, у него были пьяные глаза, которые при этом ещё так раскосились, что чуть не ушли с морды к затылку. Во рту Коти, как мне показалось, мелькнуло что-то белое. Но я не сразу придавала значение этому эпизоду. Вспомнила о коте я лишь через пару часов, когда заметила, что мышь, которая обычно назойливо брэнчала в клетке, бегая по

колесу, на этот раз подозрительно молчит. Конечно же, дверца оказалась открыта, и мыши в клетке не было. Я позвала Котю. Он пришёл, и вид у него был по-прежнему дикий. В этот раз я отчётливо увидела, что у него изо рта висит мышиный хвост. «Ты что это делаешь! — закричала я. — А ну-ка дай сюда мышь!» — и протянула ладонь. Кот послушно подошёл и положил мне на ладонь мышь, еле шевелящуюся, замученную, но живую и даже нигде не надкусанную. Коте было очень стыдно, он, видимо, не мог понять, как это он дал волю такой низкой страсти. А мышь очень быстро оклемалась и через день как ни в чём не бывало бренчала своим колесом.

Умер Котя как-то странно. Однажды днём я заснула и увидела сон, что нахожусь в кладбищенской сторожке. На одну сторону выходили окна, и в них светило солнце, а на другую сторону, на кладбище — дверь, и там чернела ночь. Дверь была раскрыта нараспашку, из неё тянуло холодом, и я хотела поскорее её закрыть. Но почему-то всё никак не могла встать со стула. Вдруг я увидела, что с кладбища ко мне бежит огромная чёрная собака: вот она всё ближе, ближе, вот-вот бросится на меня. А я по-прежнему сижу в непонятной расслабленности... Вот она уже вбегает в сторожку, чёрная, как ночь, из которой явилась. Но тут ей наперез выскакивает Котя, и она

хватает его зубами, чтобы разорвать. Я закричала и проснулась. В соседней комнате вместе с этим раздался шум, как от падения чего-то тяжёлого. Я выбежала туда: возле стола лежал Котя. Он был мёртвый. Я подумала, что он мог поймать во дворе отравленную мышь и от этого, наверное, умер. Мы с подружкой завернули его в старый передник, вынесли в какой-то отдалённый двор и там закопали под сиренью. Через несколько лет так получилось, что я переехала в тот самый двор. И этот куст сирени как раз рос под окном моей комнаты.

Люся и цыплёнок

И Клаву, и кота в нашей семье вырастила болонка Люся. Вообще она жила у бабушки, и бабушка часто говорила: «Это правда, что собаки похожи на хозяев. Вот вы посмотрите на Люсю. Она всегда весёлая, доброжелательная, общительная — как я». И это была сущая правда. Кроме всего перечисленного, Люся обладала таким сильным материнским инстинктом, что если у неё не было своих щенков, она находила себе приёмных детей. Так она воспитала Клаву, которая при всём своём скверном характере до старости почитала Люсю и прощала ей такие вещи, за которые любую другую собаку давно бы съела с потрохами. Котя тоже был воспитанником Люси.

Но самое удивительное не это.

Как-то весной я купила за пять копеек цыплёнка (в то время я жила как раз у бабушки). Я принесла его домой — он был совсем маленький, ещё жёлтый. Бабушка сначала долго ругалась, а потом разрешила его оставить до лета.

Мы посадили цыплёнка в корзину, поставили ему туда водички, блюдце с мочёным хлебушком, а сверху, чтобы он не замёрз, поместили рефлектор от аквариума. Мы боялись, что без матери цыплёнок может замёрзнуть. Включив на ночь лампочку, я спокойно легла спать и сквозь сон слушала равномерное цывокание нового жильца. Утром я проснулась от непривычной тишины. Первым делом бросилась к корзине — цыплёнок там не было. Я решила, что его достала Люся и ему пришёл конец. И только хотела попенять бабушке, зачем она велела оставить корзину на полу, как вдруг услышала тихое, совсем еле слышное «цыв!»; звук доносился из-под дивана. Мы с бабушкой наклонились и увидели такую картину: под диваном лежала Люся, между передними лапами у неё был зажат цыплёнок — тощий, мокрый, неузнаваемый, зализанный до полусмерти. Мы его отняли и снова посадили в корзину, решив, что, наверное, он всё равно уже не жилец. Но он очень быстро «опырхал», как выразилась бабушка: пёрышки обсохли и взвились жёлтым облачком. С этого момента при любом удобном случае цыплёнок

удирал к Люсе. Мы вскоре даже в корзинку перестали его сажать. После тяжёлых инкубаторских мытарств он впервые узнал, что такое материнское тепло. Спал он теперь не иначе, как возле Люсиного бока, зарывшись в длинную белую шерсть. Кормить Люся водила его на кухню, к своей миске. Она медленно шла по коридору, выставив вверх обрубок хвоста, а сзади со всех ног мчался цыплёнок, считая этот хвост своим ориентиром. Это продолжалось и тогда, когда крошечный птенец превратился в беленькую, довольно голенастую курочку. По-прежнему Люся приводила её к своей миске, ждала, пока та наклюётся, а потом ела сама. Но вот курица выросла до таких размеров, что бабушка уже больше никак не соглашалась держать её в доме. Тогда мы отдали её одним странным людям, которые держали кур прямо на кухне в городской квартире. У них имелся также петух, и по утрам всегда было весело проходить под их окнами в школу. А Люся долго не скучала. Вскоре она оценилась и забыла про своего приёмца.

Две Лариски

Больше всего на свете мама боялась крыс. Она говорила о них то, что обычно говорят в таких случаях женщины, — про голый холодный хвост. Но однажды я поехала на Птичий рынок и купила огромную, жёлтую от старости

лабораторную крысу, соблазнив-шись её дешёвизной. Без памяти довольная своей покупкой, я долго уговаривала маму: «Ну ты только потрогай — никакой он не холодный, а очень даже тёпленький и приятный!»

Но мама скрылась в своей комнате и захлопнула дверь: ей было плохо.

Пришлось благоустраивать крысу вдали от маминой сферы обитания, в моей комнате, за тумбочкой, в большой клетке, приобретённой незадолго до этого. Первые дни я не отходила от клетки — всё время доставала крысу, любовалась ею и пускала её ползать по себе. Крыса оправдала мои надежды: через неделю после того, как я её купила, она родила восемь крысят. Проснувшись утром в день своего рождения, я увидела, что в углу клетки натаскана гора ваты, там лежит моя крыса, и от неё несётся какое-то странное попискивание. Обнаружив сюрприз, я первым делом побежала будить маму:

— Вот видишь, ты была довольна, а я в своей покупке не раскаиваюсь.

Мама тоже пришла посмотреть на крысят. Вид крысы-матери вызывал у неё по-прежнему содрогание, но крысята даже понравились, они были, как все новорождённые детёныши, голенькие, маленькие, непонятно было, что из них вырастет.

Крысята подрастали, — из восьми их осталось только четыре.

Вскоре стало видно, что у них другая окраска, чем у их матери. Они были чёрненькие, с белой грудкой. Я стала замечать, что мама всё чаще подходит к клетке, чтобы посмотреть на них. Когда в клетке стало тесно, мы отдали двух крысят знакомым, а старую крысу я отвезла обратно на Птичий рынок и продала тем же людям, у которых её купила, только в два раза дешевле. Судя по всему, у этой крысы была очень насыщенная жизнь, и жила она долго, потому что потом от многих знакомых до меня доходили вести, что куплена такая-то крыса, за такую-то цену, у таких-то людей, — и все приметы совпадали. После крысу продавали обратно, но на неё находился следующий покупатель, и так далее.

Итак, у нас остались две сестры-Лариски. Мама давно уже забыла свою неприязнь к крысам и очень этим возмущалась.

— Чего доброго, — говорила она, — ты змею заведёшь, и я её тоже полюблю!

Лариски платили маме взаимностью. Когда наша такса Клава уезжала на дачу и им ничто не угрожало, они спокойно разгуливали по всей квартире, а спать забирались к маме на подушку: им очень нравилось жить в волосах. Надо сказать, что ручная крыса ничуть не глупее собаки. Она прибегает на твой зов из другой комнаты, вспрыгивает к тебе на колени, ласкается. И хозяина любит ничуть не меньше. Это-то и

погубило одну из наших Ларисок. Но сначала погибла первая. Произошло это так.

Крысы очень любили дразнить таксу Клаву. Когда ей удавалось проникнуть в мою комнату, — а она постоянно рвалась туда во все лопатки, — она принималась бегать и лаять вокруг стола, на котором стояла клетка с крысами. Крысы были умные: даже если дверца клетки была открыта, они совсем не выходили, а высовывались и глядели на Клаву, строили ей разные рожи, махали перед её носом хвостами. Но вот одна из Ларисок решила показать чудо храбрости. Она выскочила из дверцы и по краешку стола, по скатерти пробежалась перед самой пастью Клавы, злобно пенящейся и клокочущей. Клава не вынесла такого оскорбления, рванула на себя скатерть, и Лариска упала прямо к ней в лапы. Когда я пришла из школы, мама показала мне только безжизненное тельце задушенной Лариски.

После гибели подружки вторая Лариска стала ещё более ручной и ласковой. И ещё она полюбила наблюдать за рыбками, сидя на стекле, которым был накрыт аквариум. Заберётся, бывало, на аквариум и носом водит туда-сюда, а лапу всё пытается в воду опустить. Из-за этого однажды чуть беда не произошла.

Пришла я как-то из школы, прошлась по своей комнате и боковым зрением заметила, что стенки аквариума-то совсем водорослями

заросли, да ещё какое-то непонятное чёрное пятно там виднеется, но мне было некогда об этом подумывать, я пошла на кухню обедать. А когда пообедала, решила и Лариску покормить. Подхожу к клетке — а Лариски-то и нет! Я её звать, кричать! Нет, не идёт. И вдруг у меня в голове пронеслась жуткая мысль про то тёмное в аквариуме. Я бросилась к аквариуму! А там... Какое счастье, что мне давно уже некогда было заниматься рыбками, и аквариум на треть обмелел. В воде, на цыпочках, выставив ушки и подняв кверху мордочку, покачивалась столбиком моя Лариска, и неизвестно, сколько она так простояла.

Когда я её вытащила, она была жалкая и мокрая и полезла греться ко мне в рукав. Но погибла она всё-таки от воды. Лариска всегда страшно переживала за нас с мамой, когда мы шли мыться в ванну. Она бегала по самому краю ванны, издавала свои тревожные крысиные звуки, лапками пыталась хватать меня за волосы, если могла достать, и вообще всем видом показывала, как она боится, что мы утонем.

А утонула она сама. Как-то мы набирали ванну, чтобы мыться, и не заметили, как Лариска по привычке проскользнула туда. Когда мама зашла через десять минут, было уже поздно. Наверное, Лариска сорвалась со скользкого края. Было очень жалко её, и мы крыс больше не заводили.

Чоп

Однажды, когда я уже была взрослая, мы с мужем поехали на Птичий рынок. Зная обо всех его соблазнах, мы тайком друг от друга взяли деньги. Один мужик продавал щенка лайки — толстого, как лепёшка, дымчатого, с такими крохотными ушками, что они почти не видны были из шерсти. Ясно было, что из этого толстопятого вырастет прекрасная собака. Ему на вид был месяц, а он уже весил килограмма два.

— Берите, — уговаривал мужик и совал поддержать сонного щенка на руки. — Еды ему много не надо. Финны их как кормят — пару рыбин кинут, и хватит на день.

При слове «рыбин» щенок поднял голову и так серьёзно посмотрел на нас, что нам почему-то стало нехорошо, и мы с мужем, не стовариваясь, пошли дальше.

У самых ворот рынка, где уже кончался ряд с приличными собаками и покупателям предлагались всякого рода недоразумения типа «хвост как у барбошки, как у таксы ножки», мы остановились возле одной женщины. У неё на руках дрожал, жалко скаля меленькие зубки, щенок дворняжки. У щенка были коричневые пятна на ушках-лопушках (так что потом, зимой, мы частенько различали его на снегу лишь по носу да по ушам) и тоненькие, как макаронины, ножки.

— Почём? — спросили мы в один голос.

— Тридцать рублей, — не моргнув глазом, сказала тётка. Тридцать рублей — это была почти вся наша месячная стипендия, но уж больно жалко стало щенка. И мы, не стовариваясь, полезли за деньгами.

Только в метро мы опомнились: как же так получилось, что мы его всё-таки купили? На душе было радостно. Решили назвать Чопом. Название выскочило неожиданно — не то пробка для затыкания пробоев в морском деле, не то просто сочетание звуков. Чоп — и Чоп. Во все бочки затычка.

В первую ночь Чоп так жалобно пищал под кроватью, возмущаясь, что его оставили одного, так царапал свисающую простыню своими полупрозрачными щенячьими коготками, что я, несмотря на гневное бурчание мужа, что собак надо воспитывать, не выдержала и потихоньку взяла его к себе. Чоп, немного осмотревшись, деловито полез на подушку. Вероятно, подушка казалась ему горой, а одеяло — степью. Чем же ещё объяснить, что он напустил мне с подушки прямо в ухо... Муж проснулся, когда щенок с визгом полетел обратно на пол, и даже, кажется, начал читать лекцию о том, что собак нельзя брать в постель, потому что от них бывают блохи. А Чоп, поорав себе на холодном крашеном полу, уныло побрёл к коробке с тряпками.

Чоп был настоящей дворняжкой: трусливой, безмерно преданной хозяевам и очень себе на уме. Весь он был чисто белый, а два

рыжих пятнышка вокруг ушей образовывали как бы пробор, что позволяло моему мужу рассуждать о его низком происхождении и называть Чопа лакеем, половым и лизоблюдом. У Чопа были жёлтые подозрительные глазки и рыжий веснушчатый нос. Хвост у него был баранкой, а тельце довольно складное, поэтому многие даже подозревали в нём какую-то породу. На улице Чоп, как магнитом, притягивал к себе старушек. Он их страшно умилял. Как выразилась одна бабушка, «уж очень у него вид жалкостный». Сколько раз сердобольные старушки чуть не уводили его у меня из-под носа, сколько раз я выслушивала один и тот же вопрос: «Это ваша собачка?» — заданный с тем расчётом, что ответ будет отрицательный. Сам Чоп не очень-то баловал бабулек благосклонностью. Бывало, как увидит, что к нему повышенное внимание проявили, отскочит в сторону да как зальётся лаем! Высоко себя держал, не терпел фамильярности. Один раз ко мне пришла подруга и давай ласковым голосом говорить Чопу утончённые гадости: «Чоп! Скрытный! Лицемер!», — а сама наклоняется, как бы приласкать его хочет. Чоп взвился в воздух и молча укусил её за глаз.

Однажды у нас на вешалке кто-то забыл роскошный пуховой платок. Мы долго носились с ним, спрашивали: «Чей?» — но хозяйева

почему-то так и не нашлись. Тогда я стала носить этот платок, а когда он испачкался, решила его постирать. В стиральной машине. Когда машину открыли после отжима, я долго искала среди влажных вещей свой платок, но почему-то не нашла. Зато обнаружила там откуда-то взявшийся небольшой кусок белого войлока. Я выкрасила этот кусок в ярко-фиолетовый цвет, и он стал ещё меньше, по толщине напоминая валенок, и теперь уж совсем было непонятно, что с ним делать. Этот-то войлок я и нашла, когда пришла суровая зима и Чопу понадобилось пальто. Большая часть бывшего платка пошла на обвёртку для туловища, и осталось ещё немного материала. Я решила, что раз такое дело, будем шиковать и сделаем псу на пальто рукава. Но то ли я неправильно скроила, то ли войлока было слишком мало, то ли он всё продолжал съедиваться, — короче, рукава получились узкими, как дудочки. Мы сильно попотели, втискивая Чопа в новое пальто. Особенно он визжал и отталкивался ногами, когда натягивали рукава. Когда это испытание было позади, я выпихнула Чопа на середину комнаты, чтобы полюбоваться на своё произведение. Чоп, качаясь, прошёл несколько шагов и упал на бок. Но мы всё-таки заставили его выйти на улицу в этом наряде. Обычно, выскакивая на крыльцо подъезда, Чоп разражался в пространство

звонким лаем, как свойственно почти всем дворняжкам. В этот раз он вышел молча, и было видно, что он старается сделать так, чтобы его появление на улице не было замечено никем из собак. На крыльце он ещё раз попытался завалиться набок, но после моего грозного окрика бросил эту затею и потрусил к ближайшим деревьям. Когда я отворачивалась, он быстро принимался тереться спиной о стволы, пытаясь всё-таки избавиться от ненавистного пальто. Но, заслышав мой голос, делал вид, что это он так, ничего, только хотел чуть-чуть почесаться. А потом прибежали знакомые собаки, закружили его, и он, забыв неудобство, через двадцать минут уже бегал вместе с ними в своей поддеггайке, смешно подбрасывая ноги. Ни разу после этого мы не надевали на Чопа злополучное пальто. Решили не позорить пса. Тем более, что жизнь у него была и так не очень-то сладкая. С ним всё время что-нибудь приключалось.

Так однажды наша гостья, беседа с нами за столом, в задумчивости стала опускать горячий чайник на пол рядом со своим стулом, потому что на столе было мало места. В этот-то момент из-под стула вышел Чоп с присущим ему чувством собственного достоинства. Чайник опустился ему прямо на спину и сначала, видимо, просто грел, а потом раздался визг. Вообще Чоп визжал по любому поводу. Иногда среди ночи

мы просыпались от дикого визга и стука снизу об кровать. Думая, что с собакой случилось что-то непоправимое, включали свет. А оказывалось, что всего-навсего Чопа кусали блохи.

Или раз Чоп стоял посреди комнаты и задумчиво глядел в окно. В это время наш маленький сын Андрюша, с пелёнок отличавшийся разбойным характером, встал, держась за прутья кровати. Штаны с него слезли, и он, воспользовавшись этим, через полкомнаты пустил такой фонтан, что лужа стала быстро разрастаться прямо под животом у Чопа. Пёс, оторвавшись от созерцания законного пейзажа, опустил голову, услышав подозрительные звуки, и было видно, как его усы встали дыбом от ужаса. Он поджал хвост и со всех ног бросился под диван.

В другой раз, вообразив себя охотничьей собакой, Чоп подкрался к пруду, где плавали утки. Утки всполошились, взлетели и окатили его с ног до головы холодной водой. Пёс шёл с прогулки понурый, посрамлённый. Войдя в лифт, он свесил нос, который тут же прижало дверцами лифта.

Чопу очень доставалось от ворон. Стоило ему найти в парке, где мы гуляли, косточку или шкурку от сыра и устроиться под деревом, как тут же прилетали вороны. Одна, подпрыгивая, подбиралась к собаке сзади и клевала в хвост. Когда Чоп, визжа, кидался за обидчицей, другая утаскивала

сыр. Но не совсем утаскивала, а бросала где-нибудь неподалёку. И как только бедный пёс возвращался к своему скромному угощению, повторялось то же самое: одна ворона заходила сзади и, клонув Чопа, отскакивала, а другая уносила еду. В конце концов, затравленный, полный подозрительности, похожий на помешанного Чоп бросал сыр или косточку и метался по всему парку с истошным лаем, а вороны посмеивались над ним, тяжело перелетая с ветки на ветку, почти у самой земли.

К сожалению, Чоп прожил у нас недолго. Как-то, уезжая на юг, мы отдали его на время своим знакомым, а те потеряли его. Как ни искали мы Чопа, так и не нашли и решили, что, должно быть, он всё-таки составил счастье какой-нибудь одинокой старушки. И эта мысль подтвердилась. Однажды, года через два после пропажи Чопа, мы смотрели телевизор. Там показывали митинг коммунистов — каких-то, в основном, пожилых людей. На экране шёл дождь. И вот под одним красным пролетарским зонтиком мелькнула знакомая мордочка.

— Чоп! — закричали мы в один голос.

Ура! Чоп попался в лапы коммунистам. Ему обеспечено светлое будущее. Лицо женщины, которая держала нашего пса на руках, было строгим и целеустремлённым. «С такой хозяйкой он не пропадёт», — решили мы.

Бегемот

Больше всего я мечтал увидеть бегемота, и однажды мне это почти удалось. Я увязался за мамой на чердак развешивать бельё. Там была тяжёлая, окованная железом дверь, а за ней и сладко и тепло пахло солнечной пылью, и ноги утопали в ней, в этой пыли, по щиколотку. Из квадратного окошка рвалась синь и лезли на чердак голуби. А кругом — тёмные углы, и ясно было, что тут что-то кроется. Я прошёл вдоль стены и нашёл ещё одну дверь, куда-то ведущую. В двери была скважина, и я в неё заглянул. То, что я увидел, меня поразило. Посреди большого, пыльного помещения, расположенного под скатом крыши и прорезанного всюду лучами, стояла огромная чугунная ванна. Я сразу понял, что в этой ванне что-то есть. Там что-то дышало. И буквально на одно мгновение я, кажется, увидел нечто тёмное и блестящее. Но в этот момент меня схватила за руку мама и силой потащила с чердака. Я понял, что она сердится на меня за то, что я успел кое-что увидеть. Но, конечно, мама не подала виду, что именно за это. Я в тот вечер и заснуть не мог, всё думал, что же это было. И ведь ванна была такая огромная, какой не было даже в нашей коммунальной квартире с одиннадцатью комнатами и двумя туалетами. Всё разъяснил мне на следующий день маляр, красивый в комнате деда Москвина.

Москвин недавно умер, всю мебель от него вынесли, и теперь в этом гулком белом пространстве приходили работать два маляра: Федёк и Витёк. Я познакомился с ними в первый же день. Они научили меня трём новым словам: «блондинка», «килька» и «инженер». Я всё думал, думал про чердак и пришёл к Витьку. Он сидел на деревянных козлах и пил из стакана. Я попытался объяснить ему про чердак, а Витёк вдруг совершенно спокойно сказал:

— Знаю я, что там. Ванна, говоришь, огромная? Так вот, послушай меня. Там один человек бегемота держит, тихо так, чтобы никто не знал.

Я чуть не задохнулся. Ведь я на самом деле думал то же самое, и почём Витёк это знал? Значит, мысли мои были не пустые, а из чего-то появились, раз вот и взрослый человек то же самое говорит.

Витёк поднял кверху свой кривой коричневый палец и произнёс:

— «Возри в леса на бегемота!» О как! А бегемот, знаешь, он животное благородное. Ненавидит крокодила. Я один раз по телевизору видел про Африку. Плавал в речке крокодил, антилопу караулил. Она только водички попить нагнулась, а он — хоп её! — и под воду потащил. И видно уже, что кровь на воде показалась. И вдруг, откуда ни возьмись, бегемот. Прямо тараном прёт на этого

крокодила — и к берегу, к берегу его. А тот, паскуда, отступает. И так в штаны наложил со страху, что антилопу бросил. А бегемот её носом, носом на берег вытолкал и ходит вокруг неё, будто ему, стало быть, её жалко. Будто спрашивает: ты жива ещё, или на кой пень я с тобой вожусь. А она буквально минутку подышала и умерла. И он тогда отошёл, интерес к ней потерял и пошёл по своим бегемотским делам.

Теперь я всё время пытался затащить маму на чердак, но про бегемота, конечно, делал вид, что не знаю. А мама как будто не понимала или, наоборот, слишком хорошо всё понимала и только делала вид, что не понимает. Когда я совсем уже извёлся, мама вдруг услышала по радио, что в зоопарке в воскресенье объявлен день бесплатного посещения. Это когда приходи кто хочешь и гляди на кого хочешь совершенно бесплатно.

— Сходи с Антоном в зоопарк, — обрадованно сказала мама папе.

И я не выдержал тайны:

— А бегемота мне там покажут?!

Когда мы с папой вышли из метро, то увидели, что со всех сторон к зоопарку тянутся толпы народа. Сначала ещё можно было как-то идти, но потом папе пришлось посадить меня на плечи.

— Ой, смотри, какой пупсик! — раздался рядом женский голос. Я с интересом обернулся,

Шпион

чтобы увидеть пупсика, но увидел только, что чей-то палец был направлен прямо на меня. Папа продвигался с трудом, а когда прошли ворота, произошло невообразимое. Толпа сдавила нас, подхватила и куда-то понесла так быстро, что я не успевал оглядеться. Всюду были головы, шляпы, на плечах родителей проплывали какие-то дети, как зайцы на корягах во время половодья (это я видел в одной книжке). Никаких животных я не замечал, и меня мучила одна мысль: а вдруг нас уже пронесли мимо бегемота? Я заплакал, ко мне повернулось испуганное, безвольное лицо папы, и толпа, ещё сильнее сжав нас, бросила в какой-то бетонный коридор, пронесла по нему и прижала меня носом к стеклу, за которым был абсолютно пустой вольер. Посреди вольера была глубокая лужа, и в ней, распластав крылья, вниз лицом плавала дохлая ворона. Потом меня оторвало от стекла и понесло дальше. Никаких зверей мы так и не увидели, они все попрятались, наверное, испугавшись народа. Только в одной клетке бегал совершенно озлобленный волк и скалил на всех зубы. Возле него валялись строительная каска и футбольный мяч.

— Видишь, — сказала мама какому-то мальчику. — Он уже строителя и футболиста съел и до тебя доберётся, если кушать не будешь.

А бегемота я так и не увидел.

Андрюша с мамой жили на даче. Однажды мама собиралась пойти развешивать бельё на другой конец участка и сказала:

— Смотри, сиди спокойно и не делай то, что я тебе запрещаю.

Она даже не стала перечислять, потому что Андрюша прекрасно знал, что ему нельзя. Поэтому прежде чем начать это делать, он долго высматривал в окошко, достаточно ли далеко ушла мама и не вздумает ли она вернуться. Наконец, он убедился в том, что ему ничто не помешает, и первым делом напился лимонада из большой бутылки, стоявшей на столе. Потом съел несколько ложек сахара из сахарницы. Затем разбежался и прокатился по линолеуму, как по катку. Потом ещё несколько раз прокатился, но вскоре решил, что может не хватить времени на самое главное. Он подставил стул к шкафу, аккуратно цепляясь ногами за ручки, влез на него и из-под самого потолка сиганул на пружинную кровать, от чего она сначала прогнулась почти до пола, а потом подбросила его так, что у Андрюши дух захватило.

К маминому приходу Андрюша примерно сидел на стуле, держа на коленях книжку. Он был собой доволен: вся программа была выполнена, и, главное, мама его ни за чем не застала и ни о чём не догадается. А мама зашла в комнату и первым делом бросила

беглый взгляд на стол: бутылка с лимонадом была взбаламучена и этикеткой отвёрнута к окну, — не так, как она оставила. Вокруг сахарницы — крупинки сахара. Мама нагнулась и против света увидела, что весь пол в разводах и полосах. Возле шкафа по-прежнему стоял стул, а кровать была наскоро, неумело застелена, так что вместо голой равнины напоминала рельефом скорее Кавказские горы.

Мама ничего не сказала. Она подошла к столику, где стоял большой термос, и, склонившись над ним, будто к чему-то прислушивалась.

— Мама, что ты там делаешь? — удивился Андрюша.

— Андрей, — тихо спросила мама, по-прежнему словно прислушиваясь к термосу, — это правда, что ты пил лимонад, ел из сахарницы сахар, катался в новых носках по полу и прыгал со шкафа на кровать?

Андрюша похолодел:

— Это что? Кто тебе... Это термос сказал?

— А ты сам подумай, — мамин голос звучал тихо и как-то злое. — Ты ничего в нём не замечал? Ты не знал, что это вражеский шпион? Вон у него нос какой горбатый и глазки голубые — понял, характер нордический! Он глазами-то своими смотрит-смотрит, всё запоминает, а что и на ленту записывает. Я ухожу — а он всё видит! Вот ночью тихонечко подкрадётся да и налёт тебе в рот

кипятку, если будешь плохо себя вести!

Андрюша в ужасе смотрел на термос; в самом деле, он был похож на дяденьку: горбатый носик и две голубые кнопки по сторонам, очень напоминающие маленькие недобрые глазки.

— Ах ты проклятый шпион! — в отчаянии закричал Андрюша, и в этот момент внутри термоса раздался громкий хлопок, и из-под него вдруг потёк чай.

— Взорвался, — констатировала мама. — Он понял, что его разоблачили, и самоликвидировался. Шпионы всегда так делают.

В этот вечер, засыпая, Андрюша думал, как хорошо, что термос взорвался, — он больше не сможет за ним следить. За стеной мама с папой пили чай и приглушённо о чём-то смеялись. В темноте звенел комар, из окна пахло сиренью.

Мужское воспитание

Когда мама уехала, Тася осталась с Витьком. Сначала они сидели молча. Тася смотрела на своё платье Снежинки, в котором ей завтра в детском саду предстояло выступать, а Витёк ковырял кухонным ножом в каком-то механизме. Наконец, он бросил механизм, босыми пятками прошлёпал к холодильнику и распахнул его.

— Всё выпито, всё сожрато, — констатировал он. — Старый жир в морозилке и засохший лимон вместо яйца воткнут. А сколько у нас денег?

Он сунул руку в задний карман штанов и достал немного замусоренной мелочи.

— Не так много.

Витёк забежал по кухне, опрокидывая разные баночки и коробочки, которые всякий раз оказывались безнадежно пустыми. Попытался ковырнуть ножом копилку, но она издала пустой звук с одиноким звоном какой-то чудом уцелевшей монетки, за что и была поставлена обратно на полку.

— Негусто, — поглядел он на Тасю.

У Витька были такие толстые линзы на очках, что глазки казались совсем крохотными и колючими. Колючими были и его усы, росшие во всех направлениях сразу, даже в нос, и борода, которая тоже не знала ни узды ни закона и явно не признавала ничего святого: начиналась она от бровей Витька, постепенно переходила на грудь, неизвестно на сколько простиралась под рубашкой и выглядывала из-под коротких штанов в виде поредевших, но столь же чёрных волосков.

На собранные деньги Витёк принёс кило квашеной капусты и громадную кость без мяса.

— Щи будем варить, — сообщил он Тасе.

— Это плохо, — сказала она. — Кастрюлю надо отмывать.

— А на кой пень нам твоя кастрюля? Мы что, не мужики, что ли? Нам покруче подавай!

Витёк притащил из ванной огромную зелёную выварку, в которой мама замачивала его штаны. Набрал в выварку воды, Витёк с трудом поднял её и бухнул на плиту, на две горелки сразу. Потом в воду была брошена кость, следом — старый жир из морозилки, капуста, разнообразная крупа, пригоршня лаврового листа и, наконец, засохший лимон. Всё это долго бурлило, подбадриваемое Витьком. Он прыгал вокруг с большой деревянной ложкой и знай помешивал.

— Прямо как в армии, — с удовольствием приговаривал он. — А в армии мы и сусликов ели. Знаешь, как суслика трудно поймать? Он вёрткий, шельма. Как стрельнёт из-под рук — только и видали. Мы на них и ямки пытались рыть, но это без толку: они в ямки не идут. Видишь, Таська, они хитрые, говорят: а на кой пень нам сдалась твоя яма, что мы в неё полезем? Но мы уж потом приспособились петельками их ловить.

В это время щи побежали, и про петельки Тася не дослушала.

Когда Тася и Витёк попробовали щи, их сначала чуть не стошнило. Всё-таки лимон был брошен напрасно. Но потом к горечи привыкли, наелись от пуза. Тася тоже разоткровенничалась:

— Витёк, а у нас в группе девочка, Юля Ландышева. Вообще-то у неё фамилия Шишова, но она говорит, что это её в детстве

подменили, и она сейчас не у родных мамы с папой живёт, а вот настоящая фамилия у неё была Ландышева. Так вот, она рассказывала, что её мама, ну, то есть ненастоящая, записала в медицинский кружок.

— Это как? — заинтересовался Витёк.

— Ну, их там учат разные таблетки давать, уколы друг другу делать, ну, кровь там берут, клизмы всякие ставят, — тут Тася рассмеялась, спрятав рот ладошкой, будто сказала что-то неприличное.

Витёк тоже хохотнул:

— А полостную операцию их ещё не учили делать?

— Это как? — удивилась теперь Тася.

— Да вот так возьмут, живот пополам разрежут и все кишки рассматривают, как там чего, не надо ли подшить.

— Ой, думаю, нет, — испугалась Тася. — Но я спрошу. Хотя это вряд ли, им ведь там всем по шесть лет, одному мальчику даже четыре. Витёк, а можно я ещё раз платье померяю? Я сразу же сниму.

— Валяй, меряй, — согласился Витёк. — Только если изгваздаться, мать нас обоих убьёт.

— Да ладно! — прокричала Тася уже из комнаты. — Она добрая.

Тася долго вертелась в своём шёлковом белом платье перед зеркалом, потом прилегла на кровать и не заметила, как заснула.

Проснулась она от того, что её толкал Витёк:

— Таська, нам с тобой хана! Я на работу проспал, а ты сейчас на свою ёлку опоздаешь. Мне мать твоя последнюю бороду выдерет.

Тася вскочила как была, в нарядном платье, и метнулась в ванную умываться. Через несколько секунд раздался её душераздирающий рёв:

— Витё-ок! Всё, всё пропало! Теперь точно всему хана!

Она стояла у раковины, и на белоснежных рюшах платья, прямо на груди, расплзлось синее пятно.

— Эх, плохо, но ладно, — успокоился сразу Витёк.

— Чего ладно-то? — не утешалась Тася. — Всегда у вас бардак! Кто в ванную чернила занёс и на полку поставил? Я за мылом потянулась, и чернила прямо на меня-а!

— Ладно, некогда орать! — отрезал Витёк. — Пойдём, я тебе кофту дам сверху надеть. Помнишь, у матери такая какая-то с кружевами белыми есть? Накинешь, никто и не поймёт, что не от костюма.

Он выгацил из шкафа кружевную кофту, с трудом найдя её в переплетении лент, резинок, колготок и платьев, и понял, как сильно он обольщался насчёт её белизны. Однако времени совсем не оставалось, и Тася была вынуждена примерить материнскую кофту.

— На рукаве дырка! — вдруг заревела она опять.

— Тыфу ты, зараза! — не выдержал Витёк. — Да провались ты! Сейчас дам нарукавники, как раз дырку прикроешь! У нас бухгалтер, Семёныч, на складе их десять штук получил. А зачем ему десять? Он только двое за год снашивает. Ну, я парочку и прибрал, молодец, хвалю, Витёк. Вот и нарукавники пригодились!

Бухгалтерские нарукавники были серые, сатиновые и уж совсем никак не вязались с нарядом Снежинки. Тася, глядя на себя в зеркало, заметно сомневалась, но, увидев, как довольно и чуть ли не с восторгом смотрит Витёк на своё изобретение, успокоилась. Перед самым выходом из дома произошло ещё одно замешательство: пропали Тасины носки.

— Проклятье! — выходил из себя Витёк. — Видел я их вчера, вот тут, в шапке лежали. И вот — нет! Кто последний шапку надевал?

Шапка была общая, её надевали все, кто выходил из дома по какой-нибудь экстренной надобности: мама за хлебом в ларёк, Витёк на помойку, надевала шапку и Тася, если ей с улицы кричала её

подружка Анька, и нужно было срочно выскочить, а Тасина шапка почему-либо никак не находилась. И вот носки как раз видели вчера в этой шапке.

— Витёк, да ты же за капустой ходил! Наверное, нахлобучил шапку вместе с носками, а они где-нибудь по дороге выпали!

— Ладно, — не выдержал Витёк, в яростной решительности шагнул в комнату, вытащил какую-то простыню, быстрым движением отодрал от неё два почти одинаковых прямоугольника и скомандовал Тасе:

— Садись. Буду учить портянки наматывать.

Вечером мама пришла забирать Тасю из детского сада. Белоснежные блестящие девочки порхали по коридору, а Таси что-то не было видно. Наконец, в одном закутке Тасина мама наткнулась на кучку детей, что-то обступивших. Из середины раздавался звонкий Тасин голосок:

— Ну и на кой пень ты тут такие хвосты оставил? Сотрёшь ноги — и всё, ни до какой границы не дойдёшь. У нас был такой козёл, Самоваров, ноги по пуп стёр, потому что как ты наматывал. Учись, пока я живая!